

ПОСЛЕДНИЕ СЮЖЕТЫ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. П. СЕРГЕЕНКО *

В дневнике Толстого от 2 октября 1910 г. читаем:

«...ночью очень хорошо, ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих, и среди тех и других, хоть бы по одному духовно живому человеку. Можно бы женщину и мужчину. О, как хорошо могло бы быть! И как это влечет меня к себе! Какая могла бы быть великая вещь! И вот именно задумываю без всякой мысли о последствиях, какие и должны быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как могло бы быть хорошо! Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я ее знаю, а ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости живого духовно человека. О, как хорошо! Может быть и будет!».

Из содержания и страстного тона этой записи с необычайным для Льва Николаевича троекратным восклицанием: «О, как хорошо!» видно, что ночью 2 октября 1910 г. Лев Николаевич находился в том особом состоянии, какое не раз переживал в былые времена при зарождении художественных сюжетов. В дневнике от 25 января 1891 г. у него записано, что он, гуляя, думал о большом произведении. «И подумал, что я мог бы соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею<...> И так мне весело, бодро стало». В дневнике от 14 апреля 1895 г.: «...с удивительной ясностью и восторгом представил себе роман...»

В письме к В. В. Стасову от 2 марта 1905 г.: «...выписки из дела декабристов прочел, с волнением, и радостью, и несвойственными моему возрасту замыслами». Теперь, 2 октября 1910 г., он вновь испытывал бодрость, веселость, радость, волнение, восторг от внезапного художественного озарения. По поводу нового сюжета он далее записал: «Живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдалиться ей <...> от борьбы внутренней». Художественное творчество было немислимо из-за тревожного душевного состояния, и он отмечал в дневнике 6 октября: «Не мог работать»; 7-го: «Ничего не делал...»; 9-го: «Ничего не писал...»; 11-го: «Летят дни без дела...»

Таким образом, сочинению, про которое он сам, при всей его скромности, сказал, что оно могло бы быть «великой вещью», не суждено было появиться.

* 5 апреля 1961 г. на 75-м году жизни умер Алексей Петрович Сергеев. Юношей познакомившись с Толстым, он стал одним из его секретарей. А. П. Сергеев был в числе лиц, подписавших в качестве свидетеля известное завещание Толстого, по которому его произведения безвозмездно и навсегда передавались народу. Всю свою жизнь А. П. Сергеев посвятил делу собирания, хранения и издания наследия Толстого (он был участником «Юбилейного издания»). А. П. Сергеев — автор ряда работ о Толстом, в том числе исследования о повести «Хаджи-Мурат», и воспоминаний, печатавшихся в разное время во многих изданиях.

Мы публикуем здесь еще один не бывший в печати мемуарный набросок А. П. Сергеева. Речь в нем идет о последних днях жизни Толстого, свидетелем которых был автор. — *Ред.*

Жизнь все усложнялась, назревал уход. 19 октября 1910 г. Лев Николаевич записал: «Близка перемена». Тем не менее вопросы художественного творчества продолжали привлекать его внимание. В его дневнике от 18 октября 1910 г. записано: «Читал Достоевского и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность». 19 октября: «Дочитал, пробежал 1-ый том Карамазовых. Много есть хорошего, но так нескладно. Великий инквизитор и прощание Зосима».

Одновременно с «Братьями Карамазовыми» Лев Николаевич читал по-французски роман Мопассана «Жизнь».

В числе его корреспондентов был некто Троицкий, тульский священник, в течение тринадцати лет пытавшийся вернуть Льва Николаевича «в лоно православной церкви», для чего время от времени приезжал в Ясную Поляну или писал Льву Николаевичу увещательные письма. 23 октября Лев Николаевич отметил в дневнике: «Письмо доброе от священника». В этот раз Троицкий писал, что не собирается обращать Льва Николаевича в православие, а только делится своими мыслями. И Льву Николаевичу показалось, что Троицкий писал так вследствие лучшего понимания его идей. В связи с этим у него зародился новый сюжет, о котором он записал в дневнике от 24 октября: «Очень живо представил себе рассказ о священнике, обращающем свободного религиозного человека, и как обратитель сам обращается. Хороший сюжет».

В этом рассказе, вероятно, было бы два главных персонажа: один с чертами Льва Николаевича, другой — Троицкого, введены были бы интереснейшие диалоги, показана сложнейшая психология обоих персонажей, изображено постепенное перерождение закоренелого суевера.

Но и к этому сюжету Лев Николаевич не пытался приступать, вследствие своего напряженного душевного состояния. Спустя три дня у него возник другой сюжет, виденный им сначала во сне.

У Льва Николаевича нередко бывали необычные для других сновидения мыслей, статей, сюжетов, образов, целых художественных произведений. Рассказы «Что я видел во сне», «Сон» и другие действительно приснились ему.

26 октября 1910 г. он отметил в дневнике:

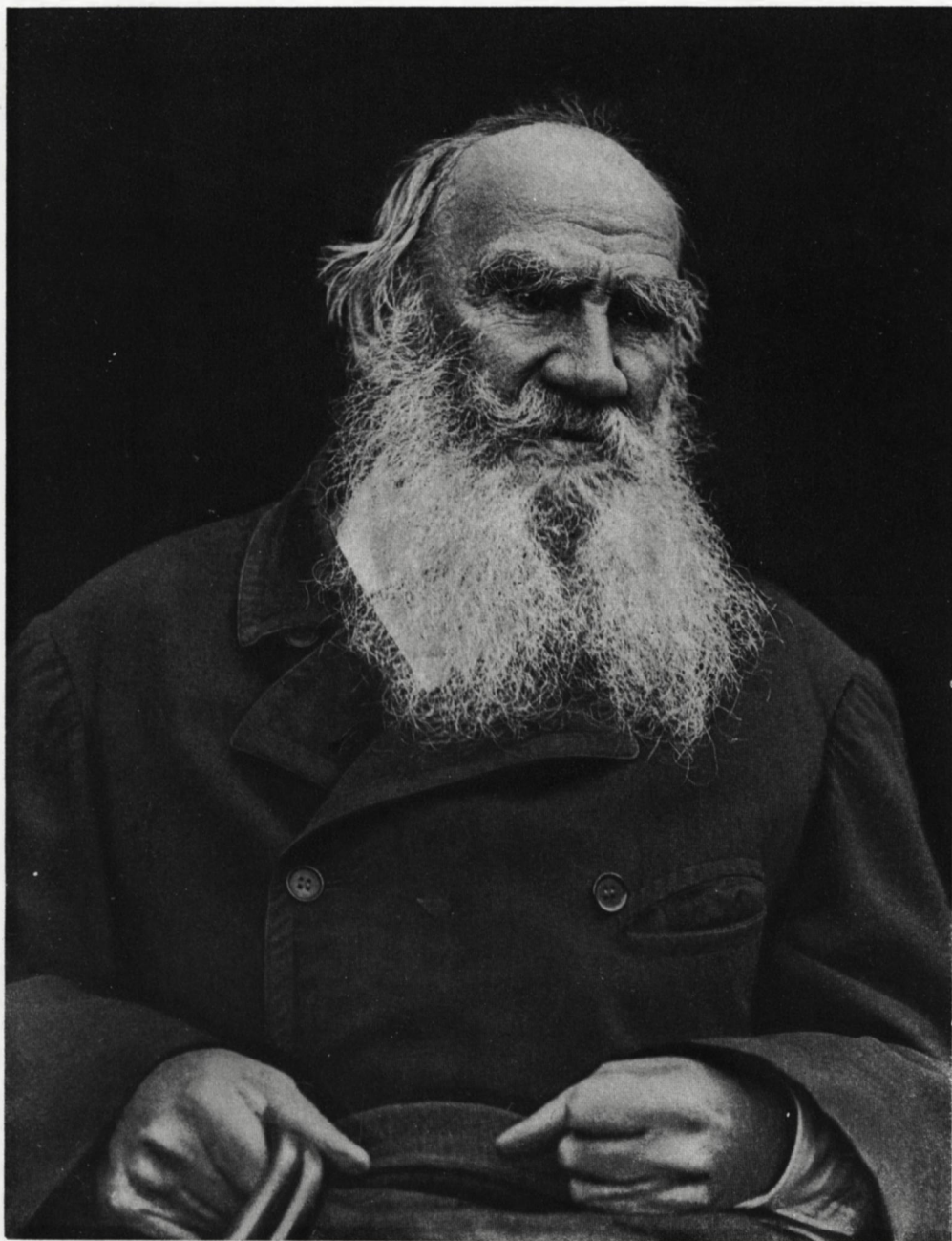
«Видел сон. Грушенька, роман будто бы Николая Николаевича Страхова. Чудный сюжет».

«Грушенька» — по всей вероятности имя будущей героини, взятое из романа Достоевского «Братья Карамазовы», который Лев Николаевич в те дни продолжал читать. Грушенька у Достоевского говорит про себя, что она «неистовая, яростная», вместе с тем способна на глубокие чувства и высокие порывы.

«Николай Николаевич Страхов» — хороший знакомый Льва Николаевича, умерший 14 лет назад, известный литературный критик, последние годы мрачно настроенный и тяготившийся своей жизнью одинокого холостяка. Возможно, что содержание рассказа состояло бы в том, что Грушенька повлияла бы на Страхова своей любовью к жизни, веселостью, эмоциональностью, широтой натуры, а Страхов благоприятно воздействовал бы на нее своими умственными запросами.

В тот же день, 26 октября 1910 г., Лев Николаевич писал Черткову: «...почувствовал с особенной ясностью — до грусти — как мне недостает вас... Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно <делиться>, — зная, что я вполне понят, — как с вами. Нынче было таких несколько мыслей-чувств».

Одна из них о том, нынче во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня, и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все-таки поскользнулся и упал, — т. е. проснулся. Все сновидение, казавшееся прошедшим, возникло мгновенно <...>



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография, 1909 г.
Музей Толстого, Москва

Вторая мысль-чувство это опять-таки нынче виденное мною, уже третье в эти последние два месяца, художественное, прелестное нынешнее, художественное сновидение. Постараюсь записать его и предшествующие; хотя бы в виде конспектов.

Какие были два предшествующие художественные сновидения, — осталось неизвестным, третье же «прелестное, художественное» — это о Грушеньке и Страхове.

Сообщая Черткову о своих снах-сюжетах, Лев Николаевич несомненно старался сделать ему приятное, зная, как Чертков всегда радовался, когда он принимался за художественное.

Чертков ответил: «Очень надеюсь, что вы успеете хоть конспективно записать содержание ваших снов. Сделайте это хоть в письме ко мне, чтобы не отнестись к своему изложению слишком требовательно». Чертков предложил это ввиду того, что Лев Николаевич уже не раз так делал в письмах к нему.

Лев Николаевич назвал свои новые сюжеты «мыслями-чувствами». Этот термин до сих пор в его высказываниях по вопросам искусства не встречался. Раньше он считал, что главным образом чувство должно составлять сущность искусства. Теперь признает необходимым нераздельное соединение чувства с мыслью. Мысли необходимо перейти в чувство, чувству проникнуть в мысль. Это понятие о «мысли-чувстве» — последнее его слово в области эстетики.

Через два дня, 28 октября 1910 г. в пять часов утра, Лев Николаевич внезапно покинул Ясную Поляну. К вечеру того же дня он был за 200 верст от своего дома, остановившись для ночлега в гостинице монастыря Оптиной пустыни. Отсюда он писал домой и просил сообщить Черткову следующее: «Постараюсь написать сюжеты снов и просящиеся художественные писания».

В том же письме он просил прислать ему некоторые вещи, а также недочитанный им второй том «Братьев Карамазовых» Достоевского и «Жизнь» Мопассана.

Поразительно, что, несмотря на все перенесенное им в течение этого дня, он не забывал о возможности художественного творчества и не утрачивал интереса к литературе.

29 октября 1910 г., на другой день после ухода Толстого, я увидел его в гостинице монастыря Оптиной пустыни. Я приехал утром. После первых фраз, которыми мы обменялись, он спросил меня, может ли мне продиктовать. Я тотчас же сел для этого за круглый стол, стоявший посередине комнаты, и увидел, что на противоположной от меня стороне стола лежит узенький листок белой бумаги. Наверху листка было что-то написано чернилами. Почерк косой, крупный, по-видимому Льва Николаевича. Очень хотелось разглядеть, что на нем написано, но листок лежал настолько далеко от меня, что это оказалось невозможным. Кончив диктовать, Лев Николаевич подошел к умывальному столику, на котором стоял большой фаянсовый таз и большой фаянсовый кувшин. Из кувшина налил в таз воды и стал намыливать руки. Вдруг с огорчением воскликнул:

— Ах, досадно!

— Что, Лев Николаевич, досадно?

— Да забыл ногтевую щеточку.

— Я постараюсь, Лев Николаевич, достать вам.

— Нет, нет, не надо. Я записываю, что прошу прислать мне из дому... Ну, теперь расскажи мне все вкратце. Что же произошло после моего отъезда? А подробно расскажешь, когда я вернусь с прогулки.

Многое бы я дал, чтобы не рассказывать ему. Страшно не хотелось его огорчать. Но делать было нечего — надо было рассказать. Для этого я и приехал. Я постарался все, насколько возможно, смягчить. Однако мои

сообщения все же произвели на него гнетущее впечатление. Я особенно это увидел, когда он, стоя возле умывального столика, вытирал лицо. Он вдруг закрыл все лицо полотенцем, крепко прижал его обеими руками и неподвижно постоял в этой позе несколько секунд. Казалось, он думал: «Выхода нет, пощады нет». Но, точно внушая себе мужество, он отнял полотенце от лица и начал энергично вытираться им, после чего повесил полотенце на крючок и столь же энергично расчесал волосы и бороду.

Вскоре он ушел на прогулку. Я представлял себе, каково его душевное состояние; вероятно, самое, какое только может быть, подавленное. Может быть, ходит у извилистой реки Жиздры или у векового соснового бора и не замечает природы, не любит ее, а думает и думает. Думает об одном: Как ему быть? Что делать? Где выход? Всякий на его месте, 82-летнего старика, измученного тяжелыми переживаниями последних четырех месяцев и только что бежавшего из дому, мог бы о чем другом думать?

Когда он ушел на прогулку, я потянул к себе узенький белый листок и прочел написанное на нем рукою Льва Николаевича:

Мыло

Ногтевая щеточка

Блок-нот.

Это он и просил прислать ему из дома.

Я ушел в другой номер гостиницы отдохнуть после бессонной ночи в поезде. Через некоторое время прибежал Душан Петрович Маковицкий и сказал, что меня зовет Лев Николаевич.

— Вернулся с прогулки в сильном расстройстве, говорит «очень тяжело», — сообщил Душан Петрович.

— Немыслимо даже вообразить себе, как ему должно быть тяжело, — ответил я.

Войдя в номер Льва Николаевича, я увидел его сидящим в кресле у круглого стола и пишущим. Писал он что-то на узеньком листке. Я предположил, что, вероятно, он дополняет начатый список вещей, и мне показалось удивительным, что, находясь в своем тяжелом состоянии, он все-таки вспоминал недостающие вещи. Окончив запись, он положил листок на прежнее место.

— Ну, Алеша, расскажи мне теперь все подробным образом, — проговорил он.

После того, что я ему рассказал, я опять ушел в другой номер, а он писал письма, потом мы обедали, потом мы собирались в дорогу. А когда во время сборов я случайно взглянул на узенький листок бумаги, то увидел, что к словам «мыло, ногтевая щеточка, блок-нот» было карандашом приписано: «кофе, губка». Мое предположение, что он, несмотря на свое тяжелое состояние, не утратил практической заботы о недостающих вещах, подтвердилось, и это еще раз меня подивило. Но моему удивлению не было предела, когда я прочел то, что стояло после слов: «кофе, губка». Под ними были проведены две черты и написано карандашом:

- 1) Феодорит и издохшая лошадь.
- 2) Священник, обращенный обращаемым.
- 3) Роман Страхова. Грушенька-экономка.
- 4) Охота; дуэль и любовые.

Четыре художественных сюжета! Если он записал их тотчас, как вернулся с прогулки, значит, обдумывал их, гуляя! А я предполагал, что он на прогулке был поглощен только мыслями о своем положении и был не в состоянии сосредоточиться на чем-либо другом.

Сюжет «Феодорит и издохшая лошадь» связан с впечатлениями, полученными им два месяца назад в Кочетах у старшей дочери. «Феодорит» — сын богатого помещика, описанный в повести «Нет в мире виноватых» так: «Звали его Федором, но кто-то как-то шутя или нарочно на-



ТОЛСТОЙ НА ПРОГУЛКЕ ВЕРХОМ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Фотография, 1908 г.

Музей Толстого, Москва

звал его Феодорит, и это показалось смешно, и так продолжали называть его и тогда, когда то, что он делал, было уже совсем не смешно <...> Был он в университете, со второго курса бросил, потом пошел в кавалергарды и тоже бросил и теперь жил в деревне, ничего не делал и все осуждал, и всем был недоволен».

Об «издохшей лошади» Лев Николаевич сделал запись в дневнике от 3 сентября 1910 г.: «Поехал верхом в Треханетово к мужику. Лошадь пала. Сильное впечатление, старик, старше меня, у него молотят».

На другой день Лев Николаевич опять поехал в ту же деревню и записал: «Ужасающая бедность. Насилу держусь от слез». В связи с этим он еще раз отметил в своей записной книжке: «Никогда не испытывал в сотовой доле того сострадания, сострадания до боли, до слез, которое испытываю теперь». Лев Николаевич дал в этот раз старику 25 рублей и, очевидно, специально для этой цели и ездил вторично к нему. Обычно он давал нуждающимся крестьянам не более 2—3 рублей. 25 рублей по тому времени и с его точки зрения была огромная сумма — почти стоимость лошади. Этот случай он и вспомнил сейчас на прогулке в Оптиной пустыни.

По сюжету «Феодорит и издохшая лошадь» очевидно опять предполагалось провести параллель между жизнью богатых и бедных.

Сюжет «Священник, обращенный обрацаемым» был записан Львом Николаевичем еще 24 октября 1910 г. по поводу священника Троицкого.

Сюжет «Роман Страхова. Грушенька-экономка» пополнен против записи в дневнике от 26 октября 1910 г. словом: «экономка». Очевидно, теперь предполагалось сделать Грушеньку заведующей всем домом одинокого Страхова и на этой почве показать возникновение и развитие их каких-то взаимоотношений, что и должно было составить, по словам Льва Николаевича, «прелестное» художественное произведение.

Последний сюжет «Охота, дуэль и любовые» навеян рядом впечатлений. Об охоте и дуэли рассказывал незадолго до того Льву Николаевичу его сын Сергей Львович. В течение нескольких лет Сергей Львович разрешал соседу-помещику Сумарокову охотиться в своем лесу на выводки волков. В нынешнем году не разрешил и Сумароков обиделся. Встретясь с Сергеем Львовичем, Сумароков потребовал объяснения, но Сергей Львович не пожелал разговаривать и не подал ему руки. Сумароков счел себя

оскорбленным и вызвал Сергея Львовича на дуэль. Посредством доверенных лиц с обеих сторон Сергею Львовичу еле удалось уладить это дело. Лев Николаевич был потрясен сохранившимися среди помещиков понятиями о защите дворянской чести и во время рассказа Сергея Львовича, как мне передавала Александра Львовна, присутствовавшая при этом, восклицал: — Ах, боже мой! Ах, батюшки! Ах, какая тьма!

«Лобовыми» — по-тульски назывались новобранцы, призванные на военную службу, от того, что при приеме им подбрасывали волосы со лба. В описываемое время, как всегда поздней осенью, призыв их происходил по всей России.

О тех «лобовых», которых в своей записи имел в виду Лев Николаевич, мне рассказывал живший у нас молодой человек Михаил Полин, сын яснополянского крестьянина Тита Полина. Мальчиком Михаил Полин попал в город, получил некоторое образование, примкнул к партии социалистов-революционеров, сидел в тюрьме, что сделало его крайне нервным, озлобленным и всегда бунтующим. Теперь он хотел избежать военной службы и 20 октября 1910 г. был у Льва Николаевича для совета, а на другой день 21 октября пришел вторично к нему еще с тремя призванными. О посещении этих четырех юношей Лев Николаевич записал в дневнике: «Пришли ясенские „лобовые“. Говорил с ними. Слишком мы далеки: не понимаем друг друга».

А своим домашним Лев Николаевич сказал о них с большой грустью:

— Какие-то все у них словечки, которых они нахватались, а в сущности ничего не знают и не понимают. Просил их прийти еще вечером, чтобы получше побеседовать, а Михаил Титов сказал, что не смогут прийти вечером, потому что будут пьяны.

Было принято, чтобы «лобовые» перед своим отъездом веселились, гуляли, пили.

28 октября, в день отъезда из Ясной Поляны, Лев Николаевич имел вторую встречу с «лобовыми» в поезде из Горбачева в Козельск. Об этих «лобовых» Лев Николаевич мне сказал в Оптиной пустыни:

— Я попробовал с ними поговорить. Но такая тьма, такая тьма, что я ужаснулся и замолчал.

В сюжете «Охота, дуэль и лобовые», вероятно, была бы показана «тьма» и богатых и бедных. Это совпадало бы с темой о пошлости.

Прочитав четыре сюжета на узенькой бумажке, я подумал, что если Лев Николаевич даже сейчас, в такие самые трагические для него минуты обуреваем сюжетами, то насколько же еще велика в нем сила жизни. Она, эта сила жизни, еще надолго сохранит его. Так думал я. Увы! Через два дня он заболел, а через восемь дней его не стало.